

Джордж
Оруэлл



Хорошие плохие КНИГИ



XX век – The Best

Джордж Оруэлл

Хорошие плохие книги (сборник)

«ФТМ»

«АСТ»

1931-1948

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Оруэлл Д.

Хорошие плохие книги (сборник) / Д. Оруэлл — «ФТМ»,
«АСТ», 1931-1948 — (XX век – The Best)

ISBN 978-5-17-093488-1

«Хорошие плохие книги», «Мечь обманывает ожидания», «Торжество открытого огня», «Могут ли социалисты быть счастливыми?», «Книги против сигарет», «Повешение»... Эссе Оруэлла, вошедшие в эту книгу, когда-то вызывали сенсацию, скандал и бурное обсуждение в английской прессе и обществе. Да и сейчас, как ни парадоксально это звучит, их полемичность ничуть не устарела, а читаются они свежо и ярко, о чем бы ни шла в них речь, – от политики до поэтики, от социальных проблем до беллетристики. Причина тому – уникальный авторский стиль Оруэлла, умевшего писать даже на отвлеченные темы неподражаемо оригинальные, глубоко личные и весьма колючие тексты.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-093488-1

© Оруэлл Д., 1931-1948

© ФТМ, 1931-1948

© АСТ, 1931-1948

Содержание

Ночлежка	6
Клинк[3]	12
Повешение	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Джордж Оруэлл

Хорошие плохие книги (сборник)

George Orwell

NARRATIVE ESSAYS

CRITICAL ESSAYS

Печатается с разрешения The Estate of the late Sonia Brownell Orwell и литературных агентств A M Heath & Co Ltd. и Andrew Nurnberg.

© George Orwell, 1931,1932,1936, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948

© Перевод. С. Таск, 2016

© Перевод. И. Доронина, 2016

© Перевод. В. Гольшев, 2016

© Перевод, стихи. Н. Эристави, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Ночлежка

День клонился к концу. Мы, сорок девять человек – сорок восемь мужчин и одна женщина, – лежали на лужайке, ожидая открытия ночлежки. Все слишком устали, чтобы разговаривать. Мы просто обессиленно распластались на траве, с небритыми лицами, ошестившимися торчавшими изо рта самокрутками. Ветви каштанов над нами были в цвету, а еще выше, в ясном небе, почти неподвижно парили огромные шерстяные облака. Разбросанные по лужайке, мы напоминали пыльный городской мусор. Мы оскверняли пейзаж, как пустые консервные банки и бумажные пакеты, оставленные на пляже. Если разговоры и возникали, они касались коменданта этой ночлежки для бродяг. Все сходились во мнении, что он – дьявол, дикарь, деспот, горлодер, богохульник, безжалостный пес. Когда он оказывался рядом, душа уходила в пятки; не одного бродягу он вышвырнул из ночлежки посреди ночи, если тот осмеливался огрызнуться. Когда дело доходило до обыска, он переворачивал тебя вверх тормашками и тряс. И если у тебя находили табак, приходилось дорого платить за это, а если ты являлся с мелочью в кармане (это считалось противозаконным), то уж – помоги тебе Бог. У меня имелось восемь пенсов.

– Ради всех святых, приятель, – посоветовал мне бывалый бродяга, – не вздумай пронести их внутрь. За восемь пенсов тебе грозит семь дней!

Поэтому я закопал свои деньги в ямке под кустами, обозначив место горкой камешков. Потом мы как смогли рассовали спички и табак, потому что их запрещено проносить почти во все ночлежки и положено сдавать при входе. Большинство из нас попрятали их в носки, за исключением тех двадцати или около того процентов, у кого носков не было, – этим приходилось проносить табак в ботинках, засовывая под пальцы. Мы же такой контрабандой набивали носки вокруг щиколоток, рискуя вызвать подозрение в эпидемии слоновой болезни. Однако даже у самых свирепых комендантов ночлежек существовало правило: ниже колен бродяг не обыскивать, и в конце концов попался только один из нас – Скотти, маленький волосатый бродяга с грубым акцентом, который кокни унаследовал от жителей Глазго. Его заначка окурков выпала из носка в неподходящий момент и была изъята.

В шесть часов ворота распахнулись, и мы, шаркая, побрели внутрь. Служитель у ворот вносил в список наши имена и прочие сведения и отбирал наши пожитки. Женщину отослали в работный дом, а нас – в ночлежку. Это было мрачное холодное побеленное известкой помещение, в котором имелись лишь помывочная комната, столовая и около сотни узких каменных ячеек. Грозный комендант встречал нас в дверях и вел, как стадо, в помывочную, где нам предстояло раздеться и подвергнуться обыску. Это был грубый солдафон лет сорока, который церемонился с бродягами не больше, чем с овцами, загоняемыми в овчарню, – толкал их так и эдак, выкрикивая им в лицо ругательства. Но, подойдя ко мне, он посмотрел тяжелым взглядом и спросил:

– Ты – джентльмен?

– Смею надеяться, – ответил я.

Он снова смерил меня долгим взглядом.

– Что ж, тебе чертовски не повезло, господин, – сказал он. – Чертовки не повезло.

После этого он, видимо, решил обращаться со мной сочувственно, даже с некоторым уважением.

Помывочная являла собой отвратительное зрелище. Все неприглядные секреты нашего исподнего тут выставлялись напоказ: глубоко въевшаяся грязь, прорехи, заплатки, завязки из веревочных обрывков вместо пуговиц, какое-то рваньё, надетое одно поверх другого и большей частью представляющее собой сетку из дыр, скрепленных лишь грязью. Помещение вмиг наполнилось плотной массой потной наготы, тяжелым запахом немых тел, смешивающимся

с никогда не выветривающимся до конца кисловатым смрадом, свойственным ночлежке. Некоторые из бродяг отказались мыться, сполоснув лишь свои «портянки» – омерзительные грязные тряпки, которыми они оборачивают ступни. Каждому давалось на помывку три минуты. Все были вынуждены пользоваться одними и теми же шестью засаленными скользкими полотенцами.

Когда мы помылись, нашу одежду унесли, а мы облачились в казенные робы до середины бедра – одеяния из серого хлопка, напоминающие ночные рубашки. Потом нам велели идти в столовую, где на раздаточных столах был выставлен ужин: неизменная ночлежная еда, всегда одна и та же, будь то завтрак, обед или ужин, – полфунта хлеба, кусочек маргарина и пинта так называемого чая. Нам потребовалось всего пять минут, чтобы проглотить эту нездоровую нищенскую еду. Потом комендант вручил каждому из нас по три хлопчатобумажных одеяла и развел по ячейкам на ночь. Двери запирали снаружи незадолго до семи вечера и отпирали через двенадцать часов.

В ячейках площадью восемь на пять футов никакого источника света не было, если не считать крохотных зарешеченных окошек, расположенных высоко в стене, да дверного глазка. Клопов здесь не водилось, кровати и соломенные тюфяки представляли собой редкую роскошь. Во многих ночлежках спать приходилось на деревянной лавке, а то и на голом полу, подушкой служил какой-нибудь скатанный предмет одежды. Получив отдельную ячейку с кроватью, я понадеялся на здоровый ночной отдых. Но ничего не вышло, потому что в ночлежке всегда что-то бывает не так; здешней бедой, как я сразу же обнаружил, являлся холод. Было начало мая, и в ознаменование весеннего сезона – наверное, в качестве скромного жертвоприношения богам весны – начальство прекратило подачу пара в трубы отопления.

Хлопчатобумажные одеяла были практически бесполезны. Всю ночь приходилось переворачиваться с боку на бок, засыпая минут на десять, просыпаясь полуокоченевшим, и пилиться в окошко в ожидании рассвета.

Как обычно случается в ночлежках, мне удалось наконец благополучно заснуть лишь тогда, когда наступило время подъема. Комендант тяжелой поступью шел по проходу, отпирал двери и громко кричал, веля каждому показать ногу. Коридор немедленно наполнился неопрятными полураздетыми фигурами, спешащими в умывальню, потому что по утрам была только одна на всех бадья, наполненная водой, так что, кто первый пришел, тот первый и помылся. К моему приходу двадцать бродяг уже умыли лица. Я лишь бросил взгляд на черную пену, покрывавшую поверхность воды, и предпочел в этот день остаться грязным. Мы поспешно облачились в свою одежду и отправились в столовую, чтобы заглотив завтрак. Хлеб оказался намного хуже обычного, потому что идиот-комендант со своими армейскими мозгами с вечера нарезал его ломтями, так что к утру хлеб был твердым, как корабельные сухари. Но после холодной беспокойной ночи мы радовались чаю. Не знаю, что бы делали бродяги без чая или по крайней мере той бурды, которую они называли чаем. Он был их пищей, их лекарством, их панацеей от всех зол. Я совершенно уверен, что без полугаллона этого питья, которое засасывали в себя в течение дня, они не смогли бы выдержать собственное существование.

После завтрака приходилось снова раздеваться для медицинского осмотра, который проводился как мера предосторожности против оспы. Врач явился только через сорок пять минут, так что у всех было время осмотреться вокруг и понять, что мы собой представляли. Зрелище было поучительным. Голые по пояс, дрожащие от холода, мы стояли в коридоре двумя длинными шеренгами. Просачивающийся сюда голубоватый холодный свет с безжалостной ясностью высвечивал нас. Не увидев этого собственными глазами, никто из нас и представить себе не мог, какой дегенеративный брюхатый сброд мы собой представляли. Нестриженные головы, заросшие помятые лица, впалые грудные клетки, плоские стопы, обвисшие мышцы – здесь были представлены все виды уродства и физической деградации. Тела под обманчивым загаром оказались дряблыми и бледными, как у всех бродяг. Двое или трое из нас, по моим наблю-

дениям, были неизлечимо больны. Какой-то слабоумный «папаша», семидесятичетырехлетний тощий старик с грыжевым бандажом, с красными водянистыми глазами и проваленными щеками, напоминал мертвого Лазаря с какой-нибудь лубочной картинки: он постоянно бродил туда-сюда, бессмысленно хихикал и жеманничал от удовольствия, когда с него спадали штаны. Но мало кто выглядел намного лучше, среди нас не набралось бы и десятка прилично сложенных мужчин, и, думаю, половина нуждалась в лечении.

Поскольку было воскресенье, нас планировали продержать в ночлежке до конца выходных. Как только ушел врач, нас снова загнали в столовую и закрыли за нами дверь. Это было побеленное известкой невыразимо унылое помещение с каменным полом, столами и скамьями из нестроганых досок и тюремным запахом. Окна располагались так высоко, что выглянуть в них не представлялось возможным, а единственным украшением являлся свод правил, грозивший жестокими наказаниями любому бродяге, который поведет себя неподобающе. Нас набилось в комнату столько, что невозможно было двинуть локтем, кого-нибудь при этом не толкнув. Уже сейчас, в восемь часов утра, мы изнывали от тоски в своем плену. Говорить было не о чем, разве что судачить о какой-нибудь ерунде вроде хороших и плохих ночлежек, благоприятных и неблагоприятных графствах, беззакониях полиции и об Армии спасения. Бродяги редко отклоняются от этих тем; они не говорят ни о чем, кроме того, что непосредственно их касается. Между ними не бывает разговоров, заслуживающих этого названия, потому что пустой желудок не позволяет душе отвлечься. Для них окружающий мир слишком велик. Они никогда не уверены в своей следующей трапезе, а поэтому не могут думать ни о чем, кроме этой следующей трапезы.

Медленно тянулись два следующих часа. Старый выживший из ума «папаша» теперь сидел тихо, спина его была согнута, как дуга лука, из воспаленных глаз на пол медленно капали слезы. Джордж, старый грязный бродяга, известный странной привычкой спать, не снимая шляпы, жаловался, что где-то в дороге потерял благотворительный пакет с продуктами. Попрошайка Билл с фигурой, какой не мог похвастать ни один из нас, нищий, обладавший геркулевой силой, от которого пахло пивом даже после двенадцати часов, проведенных в ночлежке, травил байки про жизнь попрошаек, про то, сколько кружек пива он способен выпить в забегаловке, про священника, который стучал полиции и получил семь суток. Уильям и Фред, два бывших молодых рыбака из Норфолка, пели грустную песню об обманутой несчастной Белле, которая замерзла на морозе в снегу. Слабоумный нес околесицу о каком-то воображаемом барине, который дал ему двести пятьдесят фунтов – семь золотых соверенов. Так тянулось время – под скучные разговоры и скучную ругань. Все курили, кроме Скотти, у которого табак отобрали и который без курева чувствовал себя таким несчастным и обездоленным, что я дал ему бумаги и табака на самокрутку. Курили мы втихаря, как школьники, пряча сигареты, когда слышали шаги коменданта, потому что, хоть на курение и смотрели сквозь пальцы, официально оно было запрещено.

Большинство бродяг проводили по десять часов кряду в этой жуткой комнате. Трудно представить себе, как они это выдерживали. Я начал думать, что скука – самое тяжелое испытание для бродяги, хуже, чем голод и неудобства, хуже, чем постоянное ощущение своей социальной униженности. Жестокая глупость – целый день держать невежественного человека без дела – все равно что сажать собаку на цепь в бочке. Лишь образованный человек, умеющий находить утешение в собственном внутреннем мире, способен вынести такое заключение. Бродяги, почти сплошь безграмотные, воспринимают свою нищету слепым, неизобретательным разумом. Пригвожденные на десять часов к неудобной скамейке, они не знают, чем занять себя, изнывают по какой-нибудь работе, и если мысли бродят в их голове, так это жалобные мысли о своей тяжелой участи. Нет у них ничего, что помогло бы преодолеть тоску безделья. А поскольку в безделье проходит булышная часть их жизни, они смертельно страдают от этой тоски.

Мне повезло больше, чем другим, потому что в десять часов комендант выдернул меня из столовой, чтобы приставить к занятию, самому желанному для обитателя ночлежки, – помогать на кухне в работном доме. Вообще-то никакой особой работы там не было, так что я имел возможность слинять и прохладиться в сарае, где хранили картошку, вместе с несколькими нищими из работного дома, которые прятались там, чтобы не идти на утреннюю воскресную службу. В сарае топились печка, имелись удобные упаковочные ящики, на которых можно было сидеть, старые номера «Фэмили геральд» и даже экземпляр Раффлза¹ из библиотеки работного дома. После ночлежки это место казалось раем.

Обед я получил со стола работного дома, и это была одна из самых больших тарелок, какие мне когда-либо доставались. Бродяга и двух раз в году не видит такой обильной еды, в ночлежке ли или за ее пределами. Нищие обитатели работного дома говорили мне, что ходят голодными шесть дней в неделю, но по воскресеньям всегда наедаются так, что у них чуть не лопаются животы. Когда обед закончился, повар велел мне вымыть посуду и выбросить оставшуюся еду. Остатков оказалось невероятное количество; огромные тарелки с мясом, полные ведра хлеба и овощей выкидывали на помойку и заваливали спитой чайной заваркой. Я с верхом заполнил хорошей едой пять мусорных ящиков. А мои товарищи-бродяги в это время сидели в двухстах ярдах от меня, с желудками, лишь слегка заполненными ночлежным обедом, – традиционным хлебом с чаем и, может быть, парой вареных картофелин в честь воскресенья. Создавалось впечатление, что еду выбрасывали намеренно: лучше выбросить, чем отдать бродягам.

В три часа я ушел из работного дома и вернулся в ночлежку. Тоска, царившая в переполненном, лишенном каких бы то ни было удобств помещении, теперь казалась вовсе невыносимой. Даже курение прекратилось, потому что единственное доступное бродяге курево – это подобранные с земли сигаретные окурки, и он, как зверь, живущий на подножном корму, испытывает муки, сравнимые с муками голода, если надолго оказывается вдали от своего пастбища-тротуара. Чтобы убить время, я разговорился с весьма образованным бродягой, молодым плотником, носившим рубашку с воротником и галстук. Плотник этот, по его словам, пустился в скитания потому, что у него не было инструментов для работы. Он немного сторонился других бездомных и держался скорее как свободный человек, нежели как бродяга. А также было у него пристрастие к чтению, и он повсюду носил с собой один из романов Скотта. Он сообщил мне, что никогда не заходит в ночлежку, если только его не загоняет туда голод, а предпочитает спать в придорожных кустах или в стогах сена. Скитаясь вдоль южного побережья, он днем просил милостыню, а ночью иногда неделями спал на пляже в кабинках для переодевания.

Мы рассуждали о скитальческой жизни. Он ругал систему, заставляющую человека четырнадцать часов в сутки проводить в ночлежке, а остальные десять бродить и прятаться от полиции, рассказал о своем собственном случае: полгода на государственном обеспечении по бедности из-за невозможности приобрести набор инструментов стоимостью в три фунта. Это же идиотизм, сказал он.

Потом я поведал ему о том, как в работном доме выбрасывают остатки еды с кухни, и о том, что я думаю по этому поводу. Тут тон его немедленно изменился. Я видел, как в нем пробудился прихожанин, оплачивающий постоянное место в церкви, который дремлет в любом английском рабочем. Хотя, как и остальные, умирал от голода, он сразу же нашел причины, по которым еду лучше выбрасывать, чем отдавать бродягам, и весьма сурово отчитал меня.

– Они вынуждены так поступать, – заметил он. – Если сделать такие места, как это, слишком привлекательными, то в них хлынут отбросы общества со всей страны. Сейчас их удержи-

¹ Имеется в виду Артур Раффлз – главный персонаж серии популярнейших криминальных рассказов Эрнеста Уильяма Хорнунга. – *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.*

вает только плохая еда. Эти бродяги слишком ленивы, чтобы работать, все дело в этом. Их нельзя поощрять. Они – отбросы общества.

Я привел свои аргументы, чтобы доказать его неправоту, но он не слушал, только повторял:

– Этих бродяг не следует жалеть – они отбросы. Их нельзя мерить по тем же меркам, что и людей вроде нас с вами. Они отбросы, просто отбросы.

Было интересно наблюдать, как упорно он отделял себя от таких же бродяг. Он скитался уже полгода, но, как можно было понять, не считал себя бродягой перед лицом Господа. Тело его могло пребывать в ночлежке, но дух парил где-то далеко, в чистых кругах среднего класса.

Стрелки на часах ползли невыносимо медленно. Теперь нам все так наскучило, что не хотелось даже разговаривать, единственными раздававшимися в комнате звуками были отдельные ругательства да громкие зевки. Мы заставляли себя отводить глаза от циферблата, но невольно снова смотрели на него и видели, что стрелки продвинулись всего на три минуты. Скука обволакивала наши души, как бараний жир. От скуки ныли все кости. Стрелки часов добрались до четырех, а ужин предстоял только в шесть... и было не на что глядеть теперь луне, взирающей с небес².

Наконец настало шесть часов, и комендант со своим помощником доставили ужин. Зевающие бродяги вскинулись, как львы в час кормления. Но еда оказалась удручающим разочарованием. Хлеб, и утром будучи достаточно черствым, теперь стал практически несъедобным; он был таким твердым, что даже самые крепкие челюсти не могли справиться с ним. Пожилые мужчины остались вовсе без ужина, из остальных никто не сумел догрызть свою пайку до конца, какими бы голодными ни были почти все. Как только мы закончили, нам тут же выдали одеяла и снова загнали в голые холодные ячейки.

Тринадцать часов спустя, в семь утра, нас разбудили и, подгоняя, затолкали в умывальню, чтобы мы, пререкаясь, прыснули водой в лицо, после чего тут же метнулись в столовую за своей порцией хлеба и чая. Время нашего пребывания в ночлежке закончилось, но мы не могли уйти, пока врач снова не осмотрит нас, потому что власти до смерти боялись, что бродяги разнесут оспу.

На этот раз врач заставил нас прождать два часа, и когда мы наконец освободились, было уже десять.

Наше время истекло, и нас выпустили во двор.

Каким ярким казалось все вокруг после унылой зловонной ночлежки, и как ласково обдувал нас ветерок! Комендант вручил каждому узелок с его конфискованными пожитками, а также по ломтю хлеба и сыра на обед, и мы заспешили прочь, стараясь поскорее убраться подальше от ночлежки с ее строгой дисциплиной. То был миг нашей временной свободы. Спустя день и две ночи бессмысленно праздного времени у нас оставалось восемь часов или около того, чтобы развеяться, очистить дороги от окурков, набрать подаяний и поискать работу. Кроме того, нам предстояло проделать свои десять, пятнадцать, а то и все двадцать миль до следующей ночлежки, где пьеса повторится сначала.

Я откопал свои восемь пенсов и отправился в путь с Нобби, почтенным, впавшим в уныние бродягой, который носил с собой запасную пару обуви и посещал все биржи труда. Наши недавние сотоварищи разбрелись на север, юг, восток и запад, как клопы в матрасе. Только слабоумный слонялся у ворот ночлежки, пока комендант не приказал прогнать его.

Мы с Нобби взяли курс на Кройдон. Ни одной машины не проехало мимо по пустынной дороге, каштаны были усеяны соцветиями, словно огромными восковыми свечами. От всего вокруг веяло покоем и пахло чистотой, трудно было представить себе, что еще совсем недавно

² Реплика Клеопатры на смерть Антония из пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра». – Здесь: Акт 4, сцена 13, перевод М. Донского.

мы пребывали в помещении, битком набитом узниками и смердящем канализацией и отвратительным жидким мылом. Все остальные исчезли, мы двое казались себе единственными в мире скитальцами.

Потом я услышал торопливые шаги у себя за спиной и почувствовал, как кто-то похлопал меня по руке. Это был коротышка Скотти, который, задыхаясь, бежал за нами. Он достал из кармана ржавую жестяную коробку; на его лице играла дружелюбная улыбка человека, готовившегося отплатить за любезность.

– Вот, приятель, – сердечно произнес он. – Я должен вам несколько чинариков. Вы вчера выручили меня с куревом. Комендант утром, когда мы уходили, отдал мне мою коробку с окурками. Надо добром платить за добро – вот.

И он вложил мне в руку четыре размокших, растрепанных, отвратительных сигаретных окурка.

Эрик Блэр

«Адельфи», апрель 1931 г., позднее в сокращенном и переписанном виде публиковалось как главы 27 и 35 повести «Фунты лиха в Париже и Лондоне».

Клинк³

Эта затея не удалась, поскольку ее целью было попасть в тюрьму, а я провел в заключении не более сорока восьми часов; тем не менее я решил написать об этом, поскольку процедура в полицейском суде и прочее оказались весьма интересными. Пишу спустя восемь месяцев после того, как это случилось, поэтому не уверен в датах, но все произошло за неделю – дней за десять до Рождества 1931 года.

Я отправился в путь в субботний полдень с четырьмя или пятью шиллингами в кармане и пошел в Майл-Энд-роуд, поскольку план мой состоял в том, чтобы мертвецки напиться, а в Ист-Энде, как мне казалось, к пьяницам относятся с меньшей снисходительностью. В ожидании предстоявшего заключения я купил сигарет и «Янки мэгэзин» и, как только открылись пабы, пустился в рейд по ним, выпив четыре или пять пинт пива и увенчав их четвертинкой виски, в результате чего у меня осталось всего два пенса. К тому времени, когда виски в бутылке оставалось меньше половины, я был прилично пьян – больше, чем входило в мои планы, потому что в тот день я ничего не ел, и на пустой желудок алкоголь подействовал быстро. Я едва держался на ногах, хотя голова работала ясно; со мной всегда так: когда я пьян, голова остается ясной еще долго после того, как отказывают ноги и речь. Я нетвердой походкой побрел по тротуару в западном направлении и долго не встречал ни одного полицейского, хотя людей на улицах было много, и все со смехом показывали на меня пальцами. В конце концов я завидел двух идущих мне навстречу полицейских, достал из кармана бутылку и прямо у них на глазах допил то, что в ней оставалось; это почти сбilo меня с ног, я вынужден был ухватиться за фонарный столб, но все равно упал. Полицейские подбежали ко мне, перевернули и забрали у меня из рук бутылку.

Они: Эй, что это ты тут пил? (На миг они, наверное, заподозрили самоубийство.)

Я: Эт' моя бут'ка виск'. Ост'те м'ня в покое.

Они: Эге, д'он, похоже, купался в нем! Ты где это так наклюкался, а?

Я: Я был в п'бе. Расслабл'ся. Ржд'ство же, да?

Они: Да нет, до Рождества еще неделя. Ты числа попутал. Придется тебе с нами пройти. Мы за тобой приглядим.

Я: Эт' зачем я с вами пойду?

Они: Ну, так нам легче будет присмотреть за тобой, и устроим мы тебя поудобней. А то тебя, глядишь, машина переедет, если будешь тут валяться.

Я: Слушайт', пивн'я вон там. П'шли выпьем.

Они: Тебе на сегодня хватит, друг. Лучше пойдем с нами.

Я: К'да вы м'ня ведете?

Они: В одно местечко, где ты тихонько покемаришь на чистой простыне под двумя одеялами.

Я: А вып'ть там есть?

Они: А то! У нас там всем наливают.

Разговор этот происходил, пока они вели меня по тротуару. Они держали меня таким образом (забыл, как называется этот захват), что в случае чего одним вращательным движением могли сломать мне руку, но обращались очень деликатно, как с ребенком. Соображал я отчетливо, и мне было забавно видеть, как они обманом уговорили меня пойти с ними, ни разу не проговорившись, что ведут в полицейский участок. Такова, полагаю, обычная процедура, к какой они прибегают в обращении с пьяными.

³ Жаргонное название тюрьмы, ведущее свое происхождение от основанной в шестнадцатом веке тюрьмы Клинк, некогда существовавшей в лондонском пригороде Саутворк.

Приведя меня в участок (это был участок Бетнал-Грин, но узнал я об этом только в понедельник), они бросили меня на стул и начали опустошать мои карманы, в то время как сержант задавал мне вопросы. Однако я притворился, будто слишком пьян, чтобы отвечать разумно, и он с отвращением велел им отволочь меня в камеру, что они и сделали.

Камера была того же размера, что и каморки в ночлежках (площадью что-то около десяти на пять футов и футов десять в высоту), но гораздо чище и лучше оборудованная. Стены были облицованы белой фаянсовой плиткой, имелся туалет со смывом, труба отопления и нары с набитой конским волосом подушкой и двумя одеялами. Высоко под потолком – крохотное зарешеченное окошко и электрическая лампочка в защитном плафоне из толстого стекла, которая горела всю ночь. Дверь была стальная, с неизменным смотровым глазком и окошком для просовывания еды. При обыске констебли забрали у меня деньги, спички, бритву, а также шарф – это, как выяснилось позднее, потому, что были случаи, когда заключенные вешались на своих шарфах.

О следующих сутках рассказывать, собственно, нечего, они были невыносимо скучными. Я страдал от чудовищного похмелья, гораздо более тяжелого, чем когда бы то ни было, – безусловно, из-за того, что пил на пустой желудок. За все воскресенье меня покормили два раза хлебом с маргарином и чаем (того же качества, что в ночлежке) и один раз куском мяса с картошкой – это, догадываюсь, благодаря доброте жены сержанта, потому что, полагаю, заключенным полагается только хлеб с маргарином. Мне не разрешили побриться, а умываться пришлось в скудном количестве холодной воды. Когда заполняли протокол допроса, я поведал историю, которую рассказываю всегда, – зовут меня Эдвард Бертон, родители мои держат кондитерскую в Блитбурге, где я работал продавцом в мануфактурной лавке; меня якобы уволили за пьянство, и мои родители, тоже устав наконец от этого, порвали со мной. Также я добавил, что работаю теперь неофициально грузчиком на Биллингсгейтском рынке, и в субботу мне неожиданно привалило шесть шиллингов, вот я и загулял.

Со мной обошлись по-доброму и прочли мне лекцию о вреде пьянства со всей этой обычной белибердой насчет того, что во мне еще осталось много хорошего, я должен это из себя извлечь и прочее, прочее. Они предложили отпустить меня под залог, но у меня не оказалось денег и некуда было идти, поэтому я предпочел остаться под арестом. Было очень скучно, но у меня имелся «Янки мэгэзин», и я мог покурить, попросив спички у констебля, дежурившего в коридоре, – заключенным, разумеется, держать при себе спички запрещено.

На следующий день рано утром меня отвели помыться, вернули шарф, вывели во двор и посадили в «Черную Марию». Внутри машина напоминала французскую общественную уборную: по обе стороны – ряды крохотных запертых кабинок, размеры которых позволяли разве что неподвижно сидеть. На стенках моей кабинки были нацарапаны чьи-то имена, сроки заключения и всякие ругательства, а также разные вариации куплета:

Легавый Смит разводит мастак.

Ему передайте, что он дурак.

(«Разводить» в данном контексте означает быть провокатором.)

Мы объехали разные участки, собрав около десятка заключенных, пока «Черная Мария» не заполнилась под завязку. Подобралась веселая компания. Верхняя часть в дверях кабинок откидывалась для вентиляции, так что можно было дотянуться до кабинки напротив; кому-то удалось пронести в машину спички, и все мы курили. А вскоре начали петь и, поскольку приближалось Рождество, исполнили несколько рождественских гимнов.

Подъезжая к полицейскому суду на Олд-стрит, мы горланили:

О, верные Богу, радостно ликуйте!

Придите, придите во град Вифлеем⁴.

⁴ Сборник «Воспойте Господу», № 62. Перевод Х. Воскановой и П. Сахарова.

И так далее, что казалось весьма неуместным.

В полицейском суде меня отделили от остальных и поместили в камеру, совершенно такую же, как в участке Бетнал-Грин, даже количество облицовочных плиток было таким же – я сосчитал их и там, и тут. Кроме меня, в камере было еще трое. Один – опрятно одетый, цветущий, хорошо сложенный мужчина лет тридцати пяти, которого я счел коммивояжером или букмекером, второй – еврей средних лет, тоже прилично одетый. Третий явно был закоренелым грабителем. Невысокого роста, с грубым усталым лицом и седыми волосами. В преддверии суда он пребывал в состоянии такого возбуждения, что не мог и минуты усидеть спокойно. Он метался по камере, как дикий зверь, задевая колени сидевших на нарах, и твердил, что невиновен, – видимо, его арестовали в тот момент, когда он ошивался возле места, где намеревался совершить кражу. Он говорил, что на нем висят уже девять предыдущих приговоров и что в этих случаях таких, как он, даже на основании всего лишь подозрений почти всегда осуждают. Время от времени, потрясая кулаком в сторону двери, он выкрикивал: «Чертов проходимец! Скотина проклятая!», имея в виду «фараона», который его арестовал. Вскоре в камеру привели еще двух арестантов – уродливого парня-бельгийца, обвинявшегося в том, что он препятствовал движению, перегородив дорогу своей тележкой, и невероятно волосатое существо, которое было то ли глухим, то ли немым, то ли не говорило по-английски. Кроме него, все находившиеся в камере обсуждали свои дела предельно откровенно. Цветущий опрятный мужчина, как выяснилось, был «управителем» пивной (показательно: лондонские содержатели пивных находятся в когтях у пивоваров настолько, что их обычно называют не «хозяевами», а «управителями»; они и на самом деле – не более чем наемные служащие) и растратил рождественскую кассу⁵. Как и все они, он увяз по уши в долгах перед пивоварами и, несомненно, позаимствовал деньги из кассы в надежде вернуть их позднее выигравшему. Но два участника обнаружили недостачу за несколько дней до того, как деньги должны были быть выплачены, и обнародовали информацию. «Управитель» тотчас же вернул все за исключением двенадцати фунтов, которые, впрочем, тоже вложил еще до того, как дело передали в суд. Тем не менее он был уверен, что его осудят, потому что местные суды к подобным правонарушениям относятся сурово, – и он действительно позднее в тот день получил четыре месяца заключения. Разумеется, это разрушит всю его оставшуюся жизнь. Пивовары наверняка инициируют процедуру банкротства, продадут все его запасы и мебель, и ему никогда больше не выдадут лицензии на содержание паба. Он старался храбриться перед нами и одну за другой курил сигареты «Гоулд флейк», пачками которых оказались набиты его карманы, – но, смею предположить, это был последний раз, когда он не испытывал недостатка в куреве. Что бы он ни говорил, его выдавал устремленный в одну точку невидящий взгляд. Думаю, до него постепенно доходило, что жизнь его подошла к краю, поскольку приличного положения в обществе ему уже не видать.

Еврей закупал на рынке Смитфилдс мясо для кошерной мясной лавки. Проработав на одного и того же нанимателя семь лет, он вдруг присвоил двадцать восемь фунтов, отправился в Эдинбург – понятия не имею, почему именно в Эдинбург – «повеселился» там с «девочками», а когда деньги кончились, приехал обратно и сам сдался. Шестнадцать фунтов он вернул сразу, остальные обязался возмещать частями ежемесячно. У него были жена и куча детей. Что меня заинтересовало, так это то, что, по его словам, у его работодателя, вероятно, могли возникнуть неприятности в синагоге из-за обращения в суд. Оказывается, у евреев существуют собственные третейские суды, и еврей не должен преследовать другого еврея по официальному суду, во всяком случае, за обманные действия подобного рода, не вынеся дело сначала на их собственный арбитраж.

⁵ Неформальная система накопления сбережений в коллективе: любой желающий может вносить определенные суммы денег ежемесячно без права их изъятия до конца года; несмотря на отсутствие процентов, такая система позволяет контролировать свои расходы.

Одно соображение, высказываемое этими людьми, поразило меня, я слышал его почти ото всех арестантов, обвиняемых в серьезных правонарушениях: «Я боюсь не тюрьмы, я боюсь потерять работу». Это, полагаю, симптом ослабления власти закона по сравнению с властью капиталистов.

Нас заставили ждать несколько часов. В камере было очень неуютно, потому что сидячих мест для всех не хватало, и, несмотря на тесноту, стоял зверский холод.

Несколько человек воспользовались туалетом, и в таком маленьком помещении это было отвратительно, особенно при не работающем спуске. Содержатель паба щедро делился сигаретами, дежуривший в коридоре констебль снабжал нас спичками. Время от времени громкий лязгающий звук доносился из соседней камеры, где в одиночестве был заперт молодой человек, пырнувший свою «девку» ножом в живот, – по слухам, она имела большие шансы на выживание. Бог его знает, что там происходило, но создавалось впечатление, что парня приковали к стене цепью. Часов в десять всем нам выдали по кружке чаю – как оказалось, его предоставляли не власти, а миссионеры, работавшие при суде, – а вскоре после этого нас препроводили в большой зал, где арестованные ждали суда.

В зале находилось человек пятьдесят мужчин, одетых гораздо приличнее, чем можно было ожидать. Они расхаживали взад-вперед, не снимая головных уборов и дрожа от холода. Здесь я увидел нечто, весьма меня заинтересовавшее. Когда меня вели в камеру, я заметил двух бандитского вида мужчин, очень грязных, гораздо грязнее меня, задержанных предположительно за пьянство или за создание препятствий движению, их поместили в другую камеру в том же ряду. Здесь, в зале ожидания, эти двое активно работали: с блокнотами в руках они интервьюировали арестованных. Как выяснилось, это были «подсадные», их поместили в камеру под видом задержанных, чтобы выведывать информацию, потому что между узниками существует круговая порука, и друг с другом они разговаривают, ничего не тая. Сомнительный трюк, подумалось мне.

Тем временем арестованных по одному, по два уводили по коридору в зал суда. Наконец сержант выкрикнул: «А теперь пьяницы!», и четверо или пятеро из нас выстроились в коридоре, ожидая вызова. Молодой дежурный констебль посоветовал мне:

– Сними кепку, когда войдешь, признай себя виновным и не огрызайся. У тебя уже были судимости?

– Нет.

– Тогда это тебе обойдется в шесть монет. Сможешь заплатить?

– Нет. У меня только два пенса.

– Да ладно, это не важно. Тебе повезло, что сегодня не мистер Браун рулит. Тот – трезвенник. Он пьянчугам спуска не дает. Ни боже мой!

С пьяницами расправлялись так быстро, что я даже не успел заметить, как выглядит зал суда. У меня осталось лишь смутное воспоминание о трибуне, над которой висел герб, о слушающих, сидевших внизу за столами, и об ограждении. Мы проходили вдоль этого ограждения, как очередь через турникет, и вся процедура сводилась для каждого примерно к такому диалогу: «Эдвард-Бертон-взят-мертвецки-пьяным. – Был пьян? – Да. – Шесть шиллингов. Проходи. Следующий!»

Все это занимало не более пяти секунд. В другом конце зала, куда нас направляли, находилась комната, в которой за столом сидел сержант с гроссбухом.

– Шесть шиллингов?

– Да.

– Можешь заплатить?

– Не могу.

– Тогда – обратно в камеру.

Меня снова отвели в ту же самую камеру, из которой забрали около десяти минут назад, и заперли.

Управителя паба тоже привели обратно, рассмотрение его дела отложили, и парня-бельгийца тоже – он, как и я, не смог заплатить штраф. Еврей не вернулся: был то ли отпущен, то ли приговорен, мы этого так и не узнали. В течение всего дня заключенных приводили и уводили, кто-то ждал суда, кто-то – «Черную Марию», которая должна была отвезти их в тюрьму. Было холодно, и омерзительная фекальная вонь стала невыносимой. Обед принесли около двух, он состоял из кружки чая и двух ломтиков хлеба с маргарином. Судя по всему, таков был здешний рацион. Если у кого-то имелись друзья на воле, они могли передать ему продукты, но меня поразило своей адской несправедливостью то, что не имеющий ни гроша человек вынужден был представлять перед судом, имея в желудке лишь хлеб с маргарином, а также небритым – у меня к тому времени уже двое суток отсутствовала возможность побриться, – что, вероятно, еще больше настраивало против него судью.

Среди арестантов, которых временно поместили в нашу камеру, появились два друга или сообщника, которых звали, кажется, Снаутер и Чарли, их задержали за какое-то уличное правонарушение – препятствование движению своей тачкой, если не ошибаюсь. Снаутер был худой, краснолицый, злобный на вид; Чарли – низкорослый веселый крепыш. Между ними происходил весьма занятный разговор.

Чарли: Госп’д’суссе, ну и холодрыга тут, черт ее дери! Хорошо еще сегодня не старый козел Браун правит. Тот только посмотрит на тебя – и сразу месяц впаяет.

Снаутер (тоскливо напевает):

Клянццу, клянццу, в этом деле я мастак,

Поклянццу эдак, поклянццу так,

Пройдусь по всем хлебным местам...

Чарли: Да заткнись ты! Клянчит он. В эти дни тырить надо. Индюшки-то вон в лавках выставлены – что твои солдаты на параде, только голые. Слюнки текут, глядя на них. Помяни мое слово, попрошайка несчастный, еще до вечера одна из них будет моей.

Снаутер: А толку? Ее ж, мерзавку, в ночлежке над очагом не зажаришь.

Чарли: Да кто ее жарить-то собирается? Я знаю, где ее можно загнать за пару монет.

Снаутер: Не-а, это туфта. В эти дни петь – самое оно. Гимны. Если где какие похороны, так я как заведу свою шарманку – у всех внутри все переворачивается. Старые шлюхи все свои поганые зенки выплакивают, когда меня слышат. Уж на это Рождество я их нахлобучу! Выпотрошу как миленьких и спать буду под крышей.

Чарли: Эт’ дело! А я тебе подпою. Гимн какой-нибудь.

Он затягивает красивым басом:

Иисус, любимец моей души!

*Позволь мне к твоей груди припасть...*⁶

Дежурный констебль (заглядывая в камеру через зарешеченное окошко): А ну, заткнитесь вы там, заткнитесь! Вам тут что, моленное собрание баптистов?

Чарли (низким голосом, как только констебль закрывает окошко): Да п’шел ты, ночной горшок! *(Продолжает напевать.)*

Пока катятся воды,

Пока соблазны еще велики...

Я тебе какой хошь гимн подпою. В Дартмуре в последние два года я пел в хоре, басом, провалиться мне на этом месте.

Снаутер: Да ну? И как там, в Дартмуре, теперь? Джем-то еще дают?

Чарли: Не, джема нету. Сыр – два раза в неделю.

⁶ Эта и следующая цитаты в переводе О. Колесникова.

Снаутер: Иди ты! И сколько ты там оттрубил?

Чарли: Четыре года.

Снаутер: Четыре года без бабы?! Госп'д'суссе! Небось у парней крышу срывало, когда они видели пару бабьих ног, а?

Чарли: Ты чо, мы там, в Дартмуре, трахали старух с огородов. В тумане, под забором. Они там картошку копали. Старые кошелки, лет по семьдесят. Нас, сорок человек, поймали и устроили нам за это настоящую преисподнюю. Хлеб с водой, кандалы – ну, все, что положено. Я после этого на Библии побожился, что больше – ни-ни. Супротив закону ни шагу.

Снаутер: Ага, так я и поверил! Тогда как же ты последний раз в каталажку загремел?

Чарли: Вот не поверишь, приятель. Сестра на меня стукнула. Да, кровная сестра, чтоб ей ни дна ни покрывки! Моя сестра – та еще корова. Она вышла замуж за психа, помешанного на религии, и сама стала такой набожной, что у нее уже пятнадцать детей. Так вот, это он заставил ее на меня настучать. Ну, уж я с ними поквитался, можешь мне поверить. Как думаешь, что я сделал перво-наперво, как вышел из тюрьмы? Купил молоток, пошел к ним в дом и раздолбал ее чертово пианино в щепки. Да, вот что я сделал. И сказал: «Вот тебе, вот тебе за то, что настучала на меня! Кобыла ты поганая...» – ну и так далее.

Такой вот разговор с небольшими перерывами весь день происходил между этой парочкой, попавшейся за какое-то мелкое правонарушение и вполне довольной жизнью. Те, кому предстояло отправиться в тюрьму, молчали и не находили себе места, на лица некоторых из них – респектабельных мужчин, впервые оказавшихся под арестом, – было страшно смотреть. Управителя баром увели около трех и отправили в тюрьму. Он немного приободрился, когда узнал от дежурного констебля, что его везут в ту же тюрьму, где сидит лорд Килсант⁷. Видимо, подумал, что, втеревшись в доверие к лорду К. в тюрьме, сможет по освобождении получить у него работу.

Я понятия не имел, сколько времени мне предстояло провести в заключении, но полагал, что не менее нескольких дней. Однако между четырьмя и пятью часами меня вывели из камеры, вернули конфискованные вещи и чуть ли не пинками вытолкали на улицу. Очевидно, день, проведенный в заключении, приравнивался к штрафу. У меня было всего два пенса, и я весь день не ел ничего, кроме хлеба с маргарином, поэтому был чертовски голоден; однако, как всегда, когда передо мной вставал выбор между едой и куревом, я на свои два пенса купил табак. Потом отправился в приют Церковной армии⁸ на Ватерлоо-роуд, где предоставляли крышу над головой, возможность участвовать в молебном собрании и два раза в день кормили хлебом, солониной и чаем за четыре часа работы на пилке дров.

На следующее утро я отправился домой⁹, взял деньги и поехал в Эдмонтон. В отделении «Скорой помощи» я объявился в девять часов вечера не то чтобы мертвецки пьяным, но сильно под парами, полагая, что это приведет меня в тюрьму за нарушение Акта о бродяжничестве, запрещавшего бродягам являться в «Скорую» пьяными. Дежурный, однако, отнесся ко мне с большим пониманием, видимо, посчитав, что бродяга, у которого достаточно денег, чтобы напиться, заслуживает уважения. В последующие дни я предпринял еще несколько попыток ввязаться в неприятности, попрошайничая под носом у полицейских, но, похоже, на мне лежала печать неуязвимости: никто не обращал на меня ни малейшего внимания. А поскольку никаких серьезных правонарушений, которые могли бы повлечь за собой выяснение

⁷ Лорд Килсант (1863–1937) – член парламента от Консервативной партии, председатель Совета директоров компании «Королевская судоходная почта», имевший большие интересы в судостроительной индустрии, был приговорен к двенадцати месяцам заключения в 1931 году за распространение фальшивых проспектов компании. Его личная вина в общественном сознании так никогда и не была признана.

⁸ Проповедническая организация англиканской церкви, по структуре и целям близкая к Армии спасения.

⁹ Его съемное жилье находилось по адресу: 2, Виндзор-стрит, Паддингтон, возле больницы Святой Марии. Впоследствии дом был разрушен.

личности, я совершать не хотел, пришлось сдаться. Таким образом, хоть мое предприятие и оказалось более-менее бесполезным, я решил написать о нем просто как об интересном опыте.

Август, 1932

Повешение

Это было в Бирме, сырым утром сезона дождей. Слабый свет, косо падавший на высокие стены тюремного двора, словно бы покрывал их оловянной фольгой. Мы ждали перед камерами смертников – рядом помещений, спереди огражденных двойной решеткой, словно клетки для животных. Все камеры имели размер десять на десять футов и были практически голыми, если не считать деревянных нар и кувшина с питьевой водой. В некоторых из них перед внутренней решеткой на корточках, завернувшись в одеяла, молча сидели мужчины с коричневой кожей – приговоренные к смертной казни, которых должны были повесить в предстоящие две недели.

Одного смертника вывели наружу. Это был индус, тщедушный маленький человечек с почти наголо обритой головой и большими влажными глазами. У него были густые раскидистые усы, абсурдно пышные для такого хрупкого тела, такие усы пристали бы скорее какому-нибудь киношному комику. Шестеро высоких надзирателей-индусов охраняли его и готовили к виселице. Двое стояли по обе стороны от него, держа ружья с примкнутыми штыками, остальные надевали на него ручные кандалы, пропускали между ними цепь, закрепляли ее у него на поясе и плотно привязывали веревкой руки к бокам. Они тесно обступали его, постоянно придерживая осторожной, даже ласковой хваткой, как будто непрерывное прикосновение позволяло им удостовериться в том, что он здесь. Их движения напоминали движения рыбака, державшего в руках еще живую рыбу, которая могла выскользнуть и плюхнуться обратно в воду. Однако человек стоял смирно, не сопротивляясь, вяло подставляя руки под веревку, как будто едва замечал то, что происходит.

Пробило восемь, и звук сигнального горна, слабый и одинокий в пропитанном влагой воздухе, поплыл от дальних барачков. Заслышав его, комендант тюрьмы, мужчина с седыми усами-щеточкой и резким голосом, стоявший отдельно от всех нас и угрюмо тыкавший тростью в гравий под ногами, поднял голову. Он был военным врачом.

– Ради бога, поторопись, Фрэнсис, – раздраженно сказал он. – Этот человек уже должен был быть повешен. Ты что, еще не готов?

Фрэнсис, старший тюремный надзиратель, толстый дравид в белом костюме из хлопчатобумажного тика и очках в золоченой оправе, помахал черной рукой.

– Да, сэр, да, сэр, – зажурчал он. – Все хорошо. Фисельник идет. Мы начинаем.

– Ну, так вперед, поживее. Пока вы не закончите, заключенным не дадут завтрака.

Мы двинулись в сторону виселицы. Два надзирателя шагали по бокам от осужденного с винтовками «на плечо», еще двое – позади, придерживая его за плечи и за руки, как будто одновременно и подталкивали, и не давали упасть. Остальные – судьи и прочие – двигались следом. И вдруг, пройдя ярдов десять, процессия резко остановилась без приказа и предупреждения. Случилось нечто невероятное: бог весть откуда во дворе появилась собака. Она запрыгала между нами, заливаясь громким лаем, носясь кругами, извиваясь и безумно радуясь, что увидела такое количество собравшихся вместе человеческих существ. Это была большая лохматая собака, помесь эрдельтерьера с дворнягой. Побегав вокруг нас, она, прежде чем кто-нибудь успел ее остановить, бросилась к заключенному и, подпрыгнув, попыталась лизнуть его в лицо. Все стояли, ошеломленные настолько, что никто не попытался оттащить ее.

– Кто пустил сюда эту чертову тварь? – сердито спросил комендант. – Эй, кто-нибудь, поймайте ее!

Надзиратель, не состоявший в эскорте, неуклюже бросился к собаке, но та плясала и прыгала, не даваясь в руки и, видимо, принимая происходящее за игру. Другой, молодой надзиратель, помесь европейца с азиатом, зачерпнул пригоршню гравия и швырнул ее в собаку, пытаясь отогнать, но та увернулась от камешков и снова запрыгала вокруг нас. Ее лай

эхом отражался от тюремных стен. Осужденный, придерживаемый двумя надзирателями, безучастно смотрел прямо перед собой, словно это была часть процедуры повешения. Прошло несколько минут, прежде чем собаку удалось поймать. Мы просунули мой носовой платок ей под ошейник и двинулись дальше, собака скулила и рвалась вперед, натягивая самодельный «поводок».

Все это происходило ярдах в сорока от виселицы. Я смотрел на голую коричневую спину осужденного, который шел впереди меня. Со связанными руками он двигался неуклюже, но ровно, той покачивающейся походкой индуса, который словно бы никогда не разгибает колени до конца. На каждом шагу его мышцы напрягались, а потом плавно расслаблялись, пучок волос на голом черепе прыгал вверх-вниз, а босые ступни оставляли следы на мокром гравии. Один раз, несмотря на то что двое надзирателей держали его за плечи, он чуть-чуть отступил в сторону, чтобы не попасть в лужу.

Удивительно, однако до того момента я никогда не отдавал себе отчета в том, что значит лишиться жизни здорового, пребывающего в полном сознании человека. Но, увидев, как осужденный отступил в сторону, чтобы обогнуть лужу, я вдруг остро почувствовал эту тайну, осознал не выразимую словами несправедливость насильственного прекращения жизни, находящейся в расцвете. Этот человек не умирал, он был таким же живым, как и мы. Все органы его тела исправно функционировали: кишечник переваривал пищу, кожа обновлялась, ногти росли, ткани формировались – и все это загонялось теперь в западню торжественной глупости. Его ногти будут продолжать расти и когда он взойдет на люк виселицы, и в ту десятую долю секунды, когда он, еще живой, будет лететь в воздухе. Его глаза еще видели желтый гравий под ногами и серые стены, его мозг еще помнил, предвидел, соображал – например, что нужно обойти лужу. Он и мы были единой группой людей, видящих, слышащих, чувствующих, осмысляющих один и тот же мир; а через две минуты – моментальный рывок, и одного из нас не будет, станет одним разумом меньше, одним миром меньше.

Виселица возвышалась в малом дворе, отделенном от основного и густо заросшем высокими колючими сорняками. Это было кирпичное сооружение вроде сарая без одной стенки, с деревянным настилом поверху, над которым возвышались две балки с поперечной перекладиной, с перекладины свисала веревка. Рядом со своим «рабочим местом» стоял палач – седоволосый осужденный в белой тюремной униформе. Когда мы вошли, он приветствовал нас подобострастным поклоном. По приказу Фрэнсиса двое надзирателей крепче сжали плечи приговоренного, подталкивая, подвели его к виселице и помогли неуклюже подняться по лесенке. Следом за ним на помост взобрался палач и накинул веревку ему на шею.

Мы стояли в пяти ярдах от виселицы. Надзиратели выстроились перед ней неровным полукругом. И вот, когда петля уже была закреплена, осужденный начал взывать к своему богу. Тонким голосом он бесконечно повторял: «Рама! Рама! Рама! Рама!», не настойчиво, не со страхом, как бывает, когда человек молится или просит о помощи, а монотонно, ритмично, как звонит колокол. Собака вторила ему жалобным воем. Палач, стоявший на помосте, достал небольшой хлопчатобумажный мешок наподобие мешка для муки и натянул его осужденному на голову. Но и приглушенный тканью все не умолкал повторяемый снова и снова зов: «Рама! Рама! Рама! Рама!»

Палач спустился на землю и приготовился, взявшись за рычаг. Казалось, что прошло несколько минут. Сдавленный монотонный зов «Рама! Рама! Рама!» все звучал и звучал, ни разу не сбившись с ритма. Комендант, свесив голову на грудь, медленно ковырял землю тростью; вероятно, он считал восклицания, позволяя осужденному произнести имя бога положенное количество раз, – может, пятьдесят, может, сто. У всех изменился цвет лица. Индийцы стали серыми, как плохой кофе, у одного-двух из них подрагивали штыки. Мы смотрели на связанного, с мешком на голове и петлей на шее человека и слушали его крики – каждый озна-

чал для него еще секунду жизни; все думали об одном и том же: да убейте же его поскорее, покончите с этим, остановите этот невыносимый звук!

Вдруг комендант решился. Вскинув голову, он сделал быстрое движение стеком и крикнул почти свирепо:

– Чалу!¹⁰

Послышался лязгающий звук, потом наступила мертвая тишина. Осужденный исчез, видна была только вращающаяся словно сама по себе веревка. Я отпустил собаку, и она с места галопом рванула к задней стенке помоста; но, подбежав, остановилась как вкопанная, залаяла, а потом отползла в угол двора и, застыв среди сорняков, боязливо уставилась на нас. Мы обошли виселицу, чтобы осмотреть тело. Оно очень медленно вращалось, мертвое как камень, кончики пальцев на ногах были вытянуты к земле.

Комендант протянул руку и потрогал тростью обнаженный торс. Тело слегка качнулось.

– Готов, – сообщил комендант, отошел от виселицы и сделал долгий выдох. Угрюмое выражение моментально сошло с его лица. Он взглянул на часы. – Восемь минут девятого. Ну что ж, слава богу, на сегодня это все.

Надзиратели отомкнули штыки и маршем удалились. Собака, придя в себя и осознав, что плохо вела себя, шмыгнула вслед за ними. Мы покинули висельный двор и, пройдя мимо камер ждущих своей очереди смертников, снова оказались в центральном тюремном дворе. Осужденным под наблюдением надзирателей, вооруженных длинными бамбуковыми палками с железными наконечниками, уже раздавали завтрак. Они длинным рядом сидели на корточках с жестяными мисками в руках, в которые два надзирателя с ведрами, проходя мимо, накладывали рис; после лицезрения повешения картина казалась мирной и даже веселой. Теперь, когда дело было сделано, все мы испытали невероятное облегчение. Хотелось запеть, пуститься бежать, засмеяться. Все одновременно начали оживленно болтать.

Парень-полукровка, проходя мимо меня и понимающе улыбаясь, указал туда, откуда мы пришли.

– Знаете, сэр, наш друг (он имел в виду повешенного), когда ему объявили, что его апелляция отклонена, обмочился прямо на пол камеры. От страха. Не желаете ли сигарету, сэр? Как вам нравится мой новый серебряный портсигар? От одного заключенного достался за две рупии восемь анн. Шикарный европейский стиль.

Кое-кто из стоявших вокруг засмеялся – похоже, сам не зная над чем.

Фрэнсис шел рядом с комендантом, болтая без умолку:

– Ну вот, сэр, фсе прошло без сучка без задоринки. Фсе кончено, раз – и готово! Не фсегда так бывает – нет, не фсегда! Быфали случаи, когда доктору приходилось лезть под фиселицу и дергать фисельника за ноги, чтобы убедиться, что он мертв. Очень неприятно!

¹⁰ На хинди что-то вроде «Поехали! Начали!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.